

Николай Лесков

Котин доилец и Платонида



Николай Семёнович Лесков

Котин доилец и Платонида

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175251

Аннотация

«В Старом Городе не было человека, который пользовался бы такою известностью и уважением, какими пользуется там даже в наше неуважительное время очень скромный человек, обработавший бесплодную почву ныне плодоносного городского острова. Человек этот происходил от раскольничьего колена купца Деева; но не род и не порода, а жизнь и дела этого человека дали ему его известность и почтение от ближних...»

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	6
Глава третья	9
Глава четвертая	13
Глава пятая	15
Глава шестая	18
Глава седьмая	19
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Николай Лесков

Котин доилец и Платонида

Изломанная утварь

Разрушенного дома.

Шекспир.

Глава первая

В Старом Городе не было человека, который пользовался бы такою известностью и уважением, какими пользуется там даже в наше неуважительное время очень скромный человек, обработавший бесплодную почву ныне плодоносного городского острова. Человек этот происходил от раскольничьего колена купца Деева; но не род и не порода, а жизнь и дела этого человека дали ему его известность и почтение от ближних.

Купец Семен Дмитриевич Деев был только виновником зол для того, о ком здесь будет рассказано.

Это небольшая история.

Сделавшись главою людей, не пошедших к соединению с церковью, старый Деев построил себе деревянный дом, на «отлете», в самом конце города. Нынче никто не живет в этом доме, и он стоит одинокий, сумрачный и неприветливый. Таков же, впрочем, был этот серый двухэтажный дом

с двумя ярусами маленьких окошек и в те дни, когда в нем еще обитали живые люди и в окна его светили мерцающие огоньки неугасимых лампадок. Дом этот не хотел иметь сообщения ни с кем и немилосердно карал тех из своих обитателей, у кого по какому-нибудь случаю замечалось хоть малейшее желание сблизиться с новым миром. В целом городе почти никто не имел никакого понятия о том, как живет в раскольничьем доме Семена Деева. На улице старогорожане встречали только самого Деева, но встречали его всегда капризного, угрюмого, ко гневу склонного и мстительного. Если же встречался где-нибудь кто бы то ни было из других жильцов этого дома, то все смотрели на него как на выходца с того света. О женщинах, здесь живших, знали еще менее, чем о мужчинах. Они там рождались или приходили туда для сожительства, там же и умирали. Ворота деевского дома заворялись за ними только за мертвыми. Из этого были только два исключения.

Пятьдесят лет тому назад, в одну самую бурную, темнейшую и человеконенавистную ночь, грозный деевский дом вытолкнул в бесприютность молодую девушку.

Дом словно выплюнул спросонья это дитя и снова захлопнул до другого случая свои сердитые веки.

Глава вторая

Вытолкнутая девушка была сирота, племянница Семена Деева, Аксинья Матвеевна. Ей было тогда всего восемнадцать лет; но, несмотря на свое строгое девичье затворничество, она знала, куда ей нужно идти в эту суровую ночь своего изгнания. Она шла из улицы в улицу, из переулка в переулок, прямо к маленькому серенькому домику на церковном погосте, и здесь робко постучалась в покосившееся окошко. Через несколько минут она постучалась несколько смелее, и в ту же минуту навстречу ей выскочил молодой человек в одном белье и в сапожных опорках. Это был пономарь Иона Пизонский.

– Ксюша! Косатка! – вскрикнул он с изумлением, увидя перед собою девушку.

Изгнанница только уныло шепнула:

– Выгнали.

– Выгнали?

– Выгнали; избили и выгнали.

Молодой человек с беспечнейшею радостью широко распахнул калитку и, перехватив к себе девушку, запер задвижкой ворота и внес на руках свою дрожащую гостью в очень небольшую горенку.

Весь домик Ионы Пизонского, к которому пришла Ксюша, состоял из одной крошечной горенки и еще меньшей

приспешной. Иона Пизонский был человек одинокий и молодой. Он проводил беззаботнейшую жизнь и обыкновенно распевал с голода самые веселые песни. Песни эти, его красота и беззаботная удаль полонили для него сердца старородских затворниц и добыли ему пылкое сердечко изгнанницы деевского дома. Сцена, которую мы видели, была сцена, резюмировавшая их тайную любовь в тот момент, когда силою природы вещей любовь эта перестала быть тайною для деевского дома.

Выгнанная сирота, скромная как агнец, пошла на все за своим любимцем: она приняла его веру, его имя и звание – сделалась его женой и пономарицей, и через пять месяцев родила ему сына Константина.

– Оступилась и не доносила, – острил на свой счет по этому случаю пономарь Пизонский; а через год сам оступился, рубя осенью хворост на крутом обрыве над Турицею, полетел вниз головою и один-одиноко отдал свою веселую душу единому богу.

Пономарица осталась с годовым ребенком одна, яко перст.

Ворота деевского дома, в которые постучалась вдова в эту годину несчастья, отворились только для того, чтобы послать ей одно проклятие.

Не имея ни роду, ни племени, ни пристанища, куда приклонить голову, вдова Пизонская приютилась в женском монастыре, в келейные. Туда же, в женский монастырь, внес-

ла она с собою и своего сына, назвав его обманно девочкой
Макриной.

Глава третья

Хитрость, вызванная отчаянным положением вдовы, удалась ей как нельзя лучше. Благодаря беспрестанному бдению матери настоящий пол ребенка не был никогда никем обнаружен; но зато и не знало его и само дитя, и само оно тоже считало себя девочкой. Когда же Константин Пизонский, под псевдонимом Макрины, достиг в монастыре двенадцатилетнего возраста, вдова Пизонская, заботясь о воспитании сына, вывела его вон из обители, переодела в овраге из юбки и черноколенкорového платья в желтый нанковый халат и отдала в духовное приходское училище под его настоящим именем Константина Пизонского. Но книжная премудрость не далась ребенку. Несчастное дитя прежде всего сделалось всеобщим посмешищем. Скинув с себя свой женский псевдоним, оно, во-первых, никак не могло приучиться считать себя мальчиком и постоянно говорило: «я была, я пришла, я ела»; а это дало повод издеваться над ним с первой же минуты. Учиться ребенок был очень способен; но тогдашняя училищная строгость и ядовитые доуки товарищей отняли у него всякую возможность успеха. Запуганность его дошла до невероятных пределов и была причиною окончательного смещения его в неспособные. Однажды, еще вскоре после своего поступления в училище, Пизонский, надписывая свое имя на тетради, вместо Константин, написал Кинстин-

тин. Учитель поймал его на этой ошибке и ударив по голове лозою, спросил:

– Как твое имя?

– Константин, – отвечал ребенок.

– Пиши на табуле.

Дитя взяло дрожащею рукою мел и почувствовало, что рука его бежит, бежит, бежит неудержимо и чертит одну за другою бесконечные буквы. Во всю доску тянется Константи-
тинтинтинтинтин... и все нет ему конца, нет заключения, нет предела. Ребенок чувствует, что это что-то не то, что это что-то неладно, – он млеет, дрожит и все ведет слог за слогом: «тинтинтимтинтин»...

– Что ты, стрикулист, так больно длинен? – замечает ядовито учитель, – держись своей препорции!

Пизонский быстро стер с доски бесконечную цепь слогов и твердою, решительною рукою написал короткое «Котин».

Приведенный в недоумение этим быстрым сокращением протяжно-сложенного слова, учитель счел это за оскорбительный фарс: он снова резнул Пизонского лозою по уху и снова еще более строгим голосом напоянул ему о соблюдении «пропорции».

– Не могу, – решительно отвечал ребенок.

– Чего ж ты не можешь?

– Не могу написать по препорции.

Учитель качнул назад головою, и дитя, зная, что означает сей знак, с невозмутимою покорностью подошло к скамейке,

пропитание; но это их нимало не смущало. Сидя зачастую и без работы и без хлеба, они забывали о голоде, азартно читали какую-нибудь старую астрономию и тыкали пальцами по засаленному небесному атласу. Спускающаяся на землю вечерняя темень только пригоняла их к окну, из которого они глазели целые ночи на небо и определяли созвездия, или читали на память «Манфреда» и козловского «Чернеца», или же, наконец, усевшись на порожке своей хаты, распевали дуэтом:

О человек!
Вспомни свой век.
Взгляни ты на гробы,
Они вечны дома.

Неизвестно, докуда бы продолжалось такое сладкое и поэтическое житье нашей Макрины, если бы ее, как человека, не избравшего себе в срок никакого дозволенного законом рода жизни, не отдали «по разряду» в рекруты.

Глава четвертая

Три года Константин Пизонский пробыл дьячком полковой церкви и, наконец, по ходатайству матери, возвращен для ее прокормления. Но своей старухи Константин Пизонский, возвратясь домой, уже не застал на свете. Он пришел в Старый Город и явился к дяде-староверу Маркелу Дееву. Маркел Семенович Деев допустил Пизонского к себе на глаза, выслушал все, что тот говорил ему, а потом позвал всех, кто у него был в семье, и сказал племяннику:

– А ну-ка, повернись!

– Как, дядюшка? – спросил Пизонский.

– Так, боком повернись.

Тот повернулся.

– Ну, а теперь задом стань.

Пизонский и это исполнил.

– Хорош? – спросил Маркел Семеныч домашних.

Общий хохот, где громкий, где сдержанный, раздался из всех углов в ответ на это восклицание.

На Пизонского и действительно трудно было смотреть без смеха: его лысая и вдобавок по-солдатски обточенная голова, его кривой нос, его птичьи круглые глаза, синие губы и длинный нанковый капот, купленный в том городе, где кончилась его военная карьера, – все это вместе взятое давало самый смешной и дурашный вид его фигуре.

– Служил куцым бесом три года и выслужил три пуговицы – и то ладно. Ну, и больше же, брат, не хлопочи, не оборачивайся, а как стал теперь лбом к порогу, так и иди вон, откуда пришел, – объявил ему дядя, твердо и решительно изгоняя навсегда из своего правоверного дома сына еретика и еретицы.

Пизонский вышел.

С непокрытою от рассеянности головою прошел он по всему городу, удивляя своею лысиною прохожих, которые смеялись над ним злее, чем дети смеялись над лысым пророком; но Пизонский, однако, был терпеливей пророка: он никого не проклял, а только тихо поплакал, севши под раки-той за городской заставой. Он был совершенно бесприютен и сидел на дороге, как оципанный филин. Обыкновенно думают, что в таком положении человек находится на один короткий шаг от злого дела, но это не со всеми так бывает. По крайней мере Пизонский не задумывал никаких злых дел: ему было только очень тяжело и больно, и он сидел и плакал просто – чтоб выплакаться. Однако невозможно же было вечно сидеть на большой дороге: надо было куда-нибудь шагать, где-нибудь искать какого бы то ни было приюта.

Глава пятая

Пизонский вспомнил, что у него где-то, не очень далеко от города, была замужем за однодворцем материна племянница, а его двоюродная сестра, по фамилии Набокова, и пошел искать ее. Шел он – близко ли, далеко ли – и пришел на другой вечер в село, где надеялся увидеть свою родственницу и где узнал, что ни ее самой, ни ее мужа в живых нет, а что остались после них две девочки: Глаша лет пяти да Нилочка – по второму году; но и их, этих сирот, нету в наличности, и их забрала к себе на воспитание слепая нищая, Пустыриха. Вот тебе и весь род и все племя!

«Пойду, посмотрю по крайней мере хоть какие эти девоньки», – подумал все более и более сиротевший Пизонский, и он отыскал Пустыриху и нашел у нее детей.

Встреча его с детьми была перед вечером. Обе девочки, в ветчайших рубищах, сидели на пыльной завалинке: старшая играла, подкидывая ручонками крошечные камешки, а младшая – томилась, лениво следя глазенками за сестриными руками.

Пизонский выскочил к ним неожиданно, из-за угла хаты, и остановился перед ними, как уродливый сказочный гений.

Посмотрев на детей, он сел около них на травку и обнял их обеими руками.

– Голубятки! – заговорил он, – плохо вам тут у бабушки?

Дети пугливо прижались одна к другой, сначала долго друг на друга смотрели и потом обе разом тихо заплакали.

Пизонокий опустил в карман руку и, достав оттуда немного смятую печеную луковицу, обдул прилипшие к ней крошки хлеба, разломил ее ногтями пополам и подал сироткам.

Тайный ли голос крови или заманчивый вкус сладкой печеной луковицы сразу расположил сироток к Пизонскому. Они сползли с завалины, уселись одна против другой на его коленях и сосали лук, теребя ручонками ясную солдатскую пуговицу, пришитую к воротнику дядиного коленкорového халата.

– Бьет вас бабушка, детки? – начал прямо Пизонский, поглаживая девочек по головкам.

– Бот, – прошептали тихо дети.

– И больно?

– Боно, – проронили они еще тише и робче и, смаргивая слезы, напряженно смотрели с раздражающей детской тоскою на ту же глупо блестящую пуговицу.

Пизонский развздыхался. Дробные слезы ребячьи на щеках забитого ребенка непереносимы. Необъятная любовь и нежность овладели сердцем Пизонского в виду этих слез. Он готов был все сделать, чтобы отереть эти слезы; но что мог для кого-нибудь сделать он – нищий, калека и урод, когда сотни людей, представляя себе его собственное положение, наверное почитают его самого обреченным на гибель?

И всякий бы простил ему безучастие, потому что бедный

урод ничего не мог сделать для двух сирот. У них был хотя нищенский приют Пустырихи, Пизонский же был совсем бесприютен. А взять чужое дитя – это, говорят, так ответственно, что страхом этой ответственности всегда можно извинить себя и оставить все на волю безответственного слу-
чая.

Пизонский, к счастью, не философствовал, а хорошо чувствовал и потому поступил иначе.

Дождавшись возвращения Пустырихи домой, он попросился у нее переночевать. Ночью он все вставал и наведывался к детям, а к утру окрест его запорхали какие-то чудные грезы, и утром он, забывая собственную беспомощность и бесприютность, стал умолять старуху, чтобы она отдала ему сироток.

– Я их, бабушка, воздою, я выучу их, бабонька, – говорил Пизонский.

Старуха и слушать об этом не хотела. Она хотела посылать детей побираться и потому выгнала самого Пизонского и захлопнула у него перед носом дверь свою.

«Тягаться с нею судом, – подумал Пизонский, – долго, и денег у меня нет на то, да и пока велят ей отдать мне детей, она их непременно ослепит». Но расстаться с детьми и снова идти бог знает куда одному – Пизонскому теперь уже показалось невозможно, и он в течение следующей за сим ночи придумал нечто другое.

Глава шестая

Увидев у одного крестьянского половня лозовую плетушку, в которой носят мякину и ухоботье, Пизонский утащил ее за сарай, высыпал из нее вон ржаной колос, настлал на дно свежего сена и припрятал у Пустырихи на огороде. (Он сделал преступление – он украл плетушку.) Чуть только на другой день выглянуло на небе солнышко и Пустыриха, по заведенному порядку, тронулась с поводаркой в побор, Пизонский схватил оставшихся дома девочек, посадил их в плетушку, подцепил ее своим кушаком за плечи и с длинным костылем в руке зашагал своими длинными ногами к городу. Боязнь погони и страх за участь детей, которые, как неоперившиеся птички, спали, свернувшись, в плетушке за его плечами, так гнали Пизонского, что он не отдыхая отмахал в летний день шестьдесят верст и вечером стал в Старый Город. Здесь ему не было места одному, и сюда он теперь являлся еще с двумя взятыми на свое попечение детьми.

Всякий имел полное основание назвать этого человека дураком.

– Что-то он теперь будет делать? Куда он с ними поденется?

– Дурак!

...

...

Глава седьмая

Качаясь за спиною Пизонского, обе путешествовавшие в плетушке сиротки спали целый день; но вечерняя прохлада разбудила их, и они начали с холоду ежиться и попискивать. Но это уж было у пристани. Пизонский в это время уже свернул в сторону в подгородние конопляники. Здесь он взял обеих девочек под мышки, вытряс на землю бывшее на дне плетушки сено, уложил на него детей, сел над ними на корточки, как наседка, и, подобрав их под грудь, в течение всей короткой ночи согревал их животную теплотою собственного тела и сам плакал... сладко плакал от счастья.

«Чего мне! – думал он, – и за что такая радость! Ты, господь, хотел собрать детей Иерусалима, как кокош собирает птенцы, а они не захотели... они тебя огорчили, – они не пошли, а мои пришли ко мне... я их унес... украл... Я их грею... Господи! прости мне, что я их украл!.. Дай мне укрыть их от зла... и прости мне... прости, сделай милость, что я также украл и плетушку!»

И он всхлипнул, окончив эту молитву, и тут же уснул, согревая под грудью своею крепко спавших сироток.

Рослая конопля закрывала это гнездо так, что его можно было видеть только с неба.

Ранним утром, чуть только вспыхнуло погожее солнышко, Пизонский встал с своего места, накрыл спящих детей

плетушкой и, чтобы они, проснувшись, не могли ее с себя сбросить, связал над нею крест-накрест четыре пучка конопли и вышел из своей засады. Оглядевшись на все стороны, он вздохнул, перекрестился и прямо задами побрел к городским огородам. Город еще спал, нежась в подымавшемся с реки дымчатою тумане. Места, которыми теперь шел Пизонский, очевидно, были ему не очень знакомы, потому что он долго осматривал, припоминал малейшие приметы и только после долгих соображений, открыв глазами большой огород, обнесенный вокруг высоким плетнем из лесной орешины, направился прямо к этому огороду и перелез через окружавшую его канаву, потом через плетень. Очутившись затем на самом огороде, Пизонский изогнулся дугою, быстро пробежал по межам и спрятался в грядках наперенного гороха.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.